

Анастасия Вербицкая

# Ночью



# **Анастасия Алексеевна Вербицкая**

## **Ночью**

### **Аннотация**

«Тихая, тёплая и тёмная июльская ночь спустилась над селцом Богородским, в окрестностях Москвы. Летний сад, так называемый „Детский круг“, где любители, обыкновенно, дают спектакли и концерты, был переполнен публикой. Дачники спешили насладиться хорошей погодой, улыбнувшейся только к концу дождливого и холодного лета...»

# Содержание

I	4
II	9
III	14
IV	22
V	32

# Анастасия Вербицкая

## Ночью

### I

Тихая, тёплая и тёмная июльская ночь спустилась над селцом Богородским, в окрестностях Москвы. Летний сад, так называемый «Детский круг», где любители, обыкновенно, дают спектакли и концерты, был переполнен публикой. Дачники спешили насладиться хорошей погодой, улыбнувшись только к концу дождливого и холодного лета.

На этот раз шла пьеса Островского «Поздняя любовь». Исполнители играли так дружно, с таким выдержанным ансамблем, с таким тонким пониманием и, что очень редко, знанием ролей, что хоть бы и не любителям. Особенно выделялась своей нервной игрой молодая женщина, названная в афише Петровой. Ни красоты у неё не было, ни свежести. Но каждый монолог её, каждый уход со сцены сопровождались шумными и искренними изъявлениями восторга: так талантливо воспроизводила эта Петрова симпатичный образ девушки, самоотверженно прожившей молодость в тяжёлом, беспросветном труде и вдруг захваченной жадой счастья и беззаветно отдающейся поздно вспыхнувшему чувству... тому чувству, перед которым бессильны мы, которое влечёт

нас на подвиг или преступление, которое зовётся страстью.

Как и всегда, среди публики, посещающей любительские спектакли, были зрители, которые пришли только ради танцев и нетерпеливо ждали, когда вся эта «дребедень» кончится. Но к концу пьесы таковых было уже немного. Разве какая-нибудь в пух и прах разодетая барышня простонет: «Скоро ли конец?..» Драма, развёртывавшаяся на подмостках – развитие страсти, властно вступившей в неравную борьбу с чувством долга и чести, эта вечно юная и интересная, несмотря на её вековую старость, повесть женского сердца, – и на этот раз захватила равнодушную толпу, приковала взор её к измученному лицу талантливой любительницы и заставила её разом как-то отрешиться от собственных забот и интересов, хотя на мгновение пережить чужую жизнь и страдать её болью.

– Никогда я не полагала, чтоб она могла так хорошо играть, – в антракте говорила красивая барыня своему пожилому толстяку-соседу. – Эта Вера Павловна так опустилась, от моды отстала... Как она одевается!.. Ужас!

– А вы близко знаете её?

– Н-нет... Раза два встречала у Ивановых, и то давно... Помню только, что она ни словом во весь вечер не обмолвилась... Я её за гувернантку принял...

– Так-с... А вот я её в девушках знавал. Светлая была головка!.. И вот не тому я удивляюсь, откуда у неё искра Божие, а как сумела она сберечь её в такой жизни!

– А что? – любопытствовала барынька.

– Возьмите уж одно то, что росла она баловнем, единственной дочкой у отца. Хоть он одной только службой жил, но её растил как принцессу... И гимназия-то, и учитель музыки, и учитель рисования, и курсы драматические... Ни в чём отказу... И ко всему талант был... А теперь она сама – кухарка, сама – нянька двум детям, и бельё стирает, и полы моет.

– Oh! Quelle horreur!<sup>1</sup>

– А главное – никогда ни одной жалобы, ни одного намёка... Э, да что говорить! Преклоняться надо перед такими женщинами... Где уж им за модами гнаться! Лишь бы душу живую сохранить!

Молодой человек, стоявший к ним в полуоборот и вдумчиво глядевший вдаль, при последних словах вдруг обернулся, и умное, гладко выбритое лицо его просияло. Его движение было так резко, что беседовавшие невольно оглянулись.

– Сергей Васильич!.. Вы!.. Какими судьбами?

– Отдохнуть в Москву собрался...

– И что же? Прямо с железной дороги к нам, на спектакль? Ха-ха!.. Сейчас театрала видно. А славно, батенька, играет Вера Павловна... Душевно...

– Не правда ли? – подхватил молодой человек, и у него даже глаза сверкнули. – Я в этой роли Стрепетову видел. Ну, та была лучше, – засмеялся он добродушно.

---

<sup>1</sup> Какой ужас (*фр.*)

– Кто это? – заинтересовалась барыня, лорнируя отошедшего молодого человека. – Актёр?

– Любитель... Некто Михайлов... В В\*\*\* секретарём управы служит...

– А-а... Какое интересное лицо! Я не узнала его... Как изменился, однако! Бывший поклонник и *ami de maison*<sup>2</sup> у Веры Павловны?

Толстяк досадливо крякнул.

– Э-эх, барыни, барыни!.. Как это вы все про чужие дела знаете?.. И что у вас за язычки!

Барыня звонко расхохоталась.

Последнее действие прошло, разыгранное, что называется, по нотам. Публика дружно вызывала исполнителей.

«Петрова solo<sup>3</sup>!..» – вдруг крикнул чей-то голос и тотчас же с увлечением был подхвачен другими.

Петрова вышла на сцену и глянула в толпу. На её кротком и, действительно, замученном лице как бы застыло тяжёлое воспоминание. Даже в эту минуту триумфа глаза глядели так же печально, и так же болезненно морщились тонкие брови. Она раскланивалась, медленно отступая вглубь сцены. Все движения её были тихи и скромны, словно движения монахини. Самый голос её, в драматические моменты хватавший за сердце даже «толстокожего» зрителя – такие она умела находить скорбные, звенящие слезами звуки, – этот голос в

---

<sup>2</sup> друг семьи (*фр.*)

<sup>3</sup> только Петрова (*рус. ит.*)

обыкновенное время был тих и слаб, как у человека с разбитою грудью.

– Браво, браво, Петрова!

Она нерешительно остановилась под этим неумолкаемым гулом рукоплесканий, потом опять шагнула к рампе, и бледная улыбка на мгновение осветила её черты.

«Какие вы все глупые!.. И какие счастливые!..» – как бы говорило это лицо.

Михайлов стоял у самой эстрады и, сдвинув на затылок свою шляпу «котелок», потный и красный, с возбуждённо блестящими глазами, глядел вверх на Петрову и аплодировал с увлечением... Наверное, во всей публике не было никого, кто бы с таким волнением следил за каждым словом и движением Веры Павловны. Нечаянно Петрова скользнула по лицу Михайлова взглядом. Тотчас её тёмные глаза расширились и словно вспыхнули. Михайлов заметил это и высоко приподнял шляпу.



## II

Публика, шумно смеясь и болтая, двигалась с большим трудом по немногим аллеям сада, освещённым разноцветными фонариками. Под навесом спешно разбирали стулья, чтоб очистить место для танцев. В крохотной беседке настраивался жалкий оркестр, готовясь исполнить армянский вальс.

– Петров, Петров идёт, – пробежало в публике.

Это был молодой и симпатичный брюнет, с гладко выбритым лицом (он тоже участвовал в спектакле), одетый хотя и небогато и неряшливо, но имевший, тем не менее, вид бари-ча. Он служил за пятьдесят рублей в одной из частных банкирских контор, но при этом умудрялся всегда участвовать в любительских спектаклях, всегда винтить и жить в своё удовольствие. Театрал он был страстный. Как все любители, и он считал себя большим талантом и с нетерпимостью относился к игре своих собратьев по искусству. Впрочем, он был, действительно, прекрасным комиком как на сцене, так и в жизни. Родом из старой дворянской разорившейся фамилии, он сохранил все врождённые инстинкты и привитые воспитанием замашки барства: его индифферентизм, себялюбие, заносчивость и беспечность. Он имел прекрасные манеры, хорошо говорил по-французски, отлично танцевал, был очень неглуп, хотя нигде не доучился, обладал большим

юмором, любил женщин и имел большой успех. Приходя куда-нибудь, он вносил с собой незлобивый смех и искреннее веселье. Немудрено, что его все любили, и все были с ним на ты. Это был какой-то Демокрит – l'homme qui rit<sup>4</sup>, смотрящий на жизнь с её казового конца; один из тех счастливцев, которых никто не видит унылыми, которые обладают великой мудростью – жить не задумываясь, наслаждаясь самым процессом жизни, беря от неё все радости, не требуя многого и не задаваясь непосильными задачами.

– Кого я вижу? Серёжа!.. Голубчик!.. Сколько зим!.. Ну, порадовал, могу сказать...

Они обнялись с Михайловым и звучно расцеловались, стоя в проходе, на глазах у всех. Это никого не шокировало. Богородское славится простотой своих нравов.

– А Веру видел?

– Нет ещё...

– Что же ты, братец?.. Она так рада будет! – вдруг лицо его приняло озабоченное выражение, старившее его. – Ну что, Серёжа? Как ты находишь? Верно я понял *Дермидонта*?

И ухватясь за пуговицу на пальто Михайлова, забывая спросить, как играла жена и другие исполнители, он начал защищать свою точку зрения относительно данного типа. Михайлов горячо заспорил, доказывая, что в игре комика были и шарж и отступления... Они увлеклись и почти кричали, страстно жестикулируя, с таким азартом, как будто от ре-

---

<sup>4</sup> Человек, который смеется (*фр.*)

шения их спора зависели жизнь или свобода любого из них.

Они познакомились лет семь тому назад, играя вместе в «Секретаревке» и «Немчиновке». Между ними ничего не было общего, кроме этой страсти к театру, сблизившей их. Если Петров был баричем с головы до ног, то Михайлов был плебеем и по рождению и по натуре, и, как плебей, сам себе пробивший дорогу, он был умён, скрытен, самолюбив, с характером и знал себе цену. Но жизнь его не баловала. Если Петров был Демокритом, *homme qui rit*, то Михайлов был Гераклитом, *homme qui pleure*<sup>5</sup>... Театр был страстью Михайлова. Он очень недурно играл и мечтал о сцене, как и Петров.

Оба они, шесть лет тому назад, влюбились в Веру Павловну, которая с громадным успехом подвизалась тогда в «Секретаревке». Но сердце Веры Павловны скоро сделало свой выбор. Михайлов молча стушевался и, совсем равнодушный по виду, в качестве шафера присутствовал на свадьбе товарища. Через полгода, когда Петров начал жить на улице или в гостях, по два дня иногда не заглядывая домой, Михайлов начал заходить к одинокой Вере Павловне, сперва редко, потом чуть ли не каждый день, под разными предлогами. Вера Павловна незаметно привязалась к Михайлову. Они вместе читали, спорили часами, вместе ходили за больными детьми, которые сильно полюбили Михайлова. Вместе пережили они неизбежные разочарования Веры Павловны, увлечения Пет-

---

<sup>5</sup> Человек, который плачет (*фр.*)

рова на стороне, о которых сердобольные подруги приходили докладывать его жене. Свои слёзы Вера Павловна выплакала на плече своего друга.

Раз ночью они засиделись за книгой, над повестью чужого жгучего счастья.

Он закрыл книгу, и оба они забылись в тяжёлом молчании... Вот есть же люди, которые смеют любить, признаваться в своём чувстве!.. Есть счастливцы, которые смело бросают вызов судьбе, которые умеют завоевать своё счастье и постоять за него!

Есть и другие, что живут идеей, борются и гибнут за неё...

Где же они? И где, вообще, та жизнь, повышенная, полная тревоги, полная идейного содержания? Где эти краски жизни, блеск её, тончайшие оттенки чувств, эстетические радости? О Боже! Как тускло кругом после таких книг! Как бедна действительность! Как мучительно хочется забвения!..

Как во сне, Михайлов встал и протянул руки к Вере Павловне. Она не помнит, она и сейчас не может объяснить, какая стихийная сила потянула её к нему. Они не сказали ни слова. Но безумная жажда счастья горела в их побледневших лицах, в их жадных поцелуях.

Она очнулась первая и оттолкнула его.

– Нет, нет!.. Уйдите! – крикнула она, задыхаясь, прежде чем он сказал хотя слово. – Уйдите... Бога ради... Я не могу... никогда... никогда!

Он ушёл.

Три недели он не показывался к Петровым.

– Представь, Михайлов в В\*\*\* уезжает, – объявил как-то Петров жене. – Вот удивил-то! Совсем уезжает... И место нашёл... Вот чудак-то! Здесь дорога открывалась, а там сызнава на маленький оклад. Уверяет, что доктор велел из Москвы уезжать. Лёгкие у него не в порядке... Господи Боже мой!.. Жили-жили вместе столько лет, и вдруг лёгкие не в порядке... Как ты думаешь, Верочка? Врёт он или нет?

Вера Павловна не спала всю ночь. Что ж... Она сама того хотела. Он прав. Так лучше... Такая минута не должна повторяться...

Михайлов пришёл проститься. Он был молчалив и спокоен, по обыкновению, как будто на дачу ехал. Скрылся и точно в воду канул.

Вера Павловна, однако, не забыла его. Жизнь теперь казалась ей ещё более убогой.

Через два года Михайлов женился. Петрова узнала об этом стороной.

### III

Веру Павловну Михайлов нашёл в дощатой уборной, нагнувшись над узлом, в который она увязывала принадлежности своего сценического костюма. При звуке его шагов она подняла голову, и, как ни тускло горела одинокая лампочка на стене, он всё же разглядел, как просияло её лицо. Она протянула ему обе руки. Молча он поднёс их к губам и долго-долго целовал, изредка отрываясь, чтобы взглянуть в её грустные, несмотря на улыбку, глаза.

– Знаете... – начала она первая всё тем же надтреснутым, словно, голосом, который и в жизни и на сцене действовал на слушателя как чары. – Хочу найти слова приветия, расспросить... и ничего не могу... Мысли путаются... Зачем вы здесь? Господи! Какими судьбами?

– Не успели увидаться, а вы меня как будто опять гоните? – полупечально, полушутливо промолвил Михайлов.

Они оба замолчали, взволнованные. Всё вспомнилось разом... Волшебная юность, страстная преданность искусству, дерзкие мечты о сцене, о славе, их робкая и бледная любовь... И эта единственная минута их безумия, их забвения...

– Вера! Серёжа!.. Вы здесь, что ли? По всему саду ищу! – раздался за кулисами голос Петрова.

Как бы сговорясь, они разом отодвинулись.

Петров просунул в дверь своё бритое лицо и шапку волос, прикрытых широкополой отрёпанной шляпой.

– Ну, что же, Вера, собралась?

– А ты?

– Нет, меня Иванов позвал винтить... Вот уж он тебя проводит... Ты его там водочкой угости... Кстати, я нынче от Генералова колбасы привёз... Объединение!

Он чмокнул кончики пальцев.

– Ну, так до свидания, други мои... Завтра, ведь, увидимся, Серёжа? Впрочем, мне тут до угла по дороге... Двигаемся, что ли? Постой, ты где ночуешь? У брата?.. Ну, и прекрасно... Завтра, как встанешь, приходи; только не рано. Завтра праздник, а я в праздник люблю поспать... Нынче, брат, робберов пятнадцать отхватаем до утра, благо двадцатое число...

Они двинулись. Видя, что Петров не берёт довольно тяжеловесного узла и не предлагает жене руки, Михайлов подал ей свою руку, а в другую захватил узел.

С трудом протискиваясь в толпе к выходу, они из яркого света нырнули во тьму, которая казалась теперь непроглядной.

Ни луны, ни фонарей не было. Огней в домах тоже не было. Дачники были на «кругу», либо спали. По небу ползли облака, и только запад, весь чистый, сверкал немногими звёздами. Тускло и зловеще зияли громадные лужи по дороге. Человеку свежему, попавшему в Богородское впервые,

после целой недели дождя, да ещё в такую темень, показалось бы, что он ненароком очутился в Венеции. Но обыватели знали, что грязь – неизбежная принадлежность Богородского, как балы на кругу и любители драматические и музыкальные, и что, пожив на даче, напрактикуешься, наконец, в гимнастике и привыкнешь всякой опасности, начиная с жулика и кончая сломанной ногой, глядеть в лицо не сморгнув.

Ловко лавируя между Сциллой и Харибдой, в виде глубоких ям, полных грязной воды, наши герои дошли до спуска к животрепещущему мостику, перекинутому через болото, где каждый день балансировали дачницы, закаляя свой дух в опасности. Тут Петров простился и свернул влево в переулок.

– Батюшки! – не удержался Михайлов, при виде сплошного моря воды, в которое скромно глядели окна дач. – Куда ж ты? Утонешь...

За пять лет жизни в В\*\*\* он совсем пал духом.

– Прощай, жизнь! – крикнул Петров и храбро пустился вплавь.

Не расцвёл и отцвёл

В утре пасмурных дней...<sup>6</sup>

донёсся его голос, под аккомпанемент чмокающих калош. Михайлов со своей дамой благополучно миновали трепе-

---

<sup>6</sup> А. И. Полежаев «Вечерняя заря»



тавший под их ногами мост и по лужайке, мимо изгородей и дач, двинулись к деревне.

– Куда вы так бежите, Вера Павловна? Помилосердуйте... Мы себе этак и шею свернём...

– Голубчик... У меня сердце не на месте... Ведь, детишки мои там одни, с нянюшкой... А она спит крепко... А моя Оля так беспокойна после болезни...

– Вы разве так редко уходите из дому, что боитесь?

– Да вы спросите, могу ли я уйти? Зимой, когда даю уроки, у меня кухарка есть... А летом я одна и всё сама... И это лучше для меня гораздо... Зимой я мученица... Каких только ужасов не представляешь себе каждый раз, сидя на уроке?.. Вот прошлой весной моего Мишу кухарка обварила. Полсамовара вылила на него...

– О Господи!.. Неужто жив остался?

– Да, но чего мне стоило отстоять его?

– Вы говорили... нянюшка...

– Моя это нянюшка, моя... старушка, которая меня выходила... Она на покое в богадельне живёт... Я её письмом просила погостить у меня эти три дня... А если б её не было?.. Бог с ними совсем, со спектаклями!.. Ох, пойдёмте скорей!.. Вот тут сухо, кажется?.. Меня уже перед последним актом лихорадка била... Оля всегда в это время просыпается...

– Какая же это Оля? Да сколько их у вас?

– Двое теперь... Было четверо... Ведь, вы забываете, что

мы с вами лет пять не видались.

– А мой крестник, Петя?

Рука Веры Павловны, которою она крепко опиралась на руку Михайлова, заметно дрогнула. С секунду она помолчала.

– Умер... позапрошлой зимой... Нет моего милого Пети! – рыдание прозвучало в её голосе.

– Полноте, Вера Павловна!.. Умереть в детстве, не отравившись тоской и сомнениями, не измельчав в пошлости и в нужде беспросветной, не дойдя, наконец, до отвращения к самому себе, не испортив ни своей ни чужой жизни... О! Да разве это не счастье?.. А умирать-то, всё равно, когда-нибудь придётся...

– Если б матери умели быть такими бесстрастными философами! – с горечью прошептала Вера Павловна. – Я похоронила двух детей... Один умер через две недели после рождения. Это ещё не так страшно... Но Петя... Ему шёл уже третий годок. И он понимал всё... Как он мучился! С каким укором глядел на меня своими глазёнками! Точно сказать хотел: «За что ты меня мучаешь? Что я тебе сделал?..» – голос её сорвался. На мгновение она остановилась и заломила руки. – Счастлив тот, кто умеет забывать!.. Через день после похорон, помню, муж опять винтил и шутил по-прежнему... а я старухой стала... Я после Пети во всё изверилась, во всё... В могилку с ним как будто душу мою, веру мою закопали... Как я буду молиться, когда не вижу ни смысла во

всём, что творится кругом, ни справедливости?.. Одно слепое насилие, и больше ничего!

Они молча двинулись дальше, к Большой Московской улице. Дачи, окружённые жалкими палисадниками, были погружены в безмолвие. На их голоса и шаги где-то сонно, нехотя залаяла собака. В двух лавчонках, открытых настежь, ещё горел огонь, и хозяева дремали, положив головы на прилавок. Вера Павловна всё больше прибавляла шагу, она почти бежала.

– Слава Богу!.. Пришли!

Петровы занимали небольшую избу, состоявшую из двух тёплых комнат, одной холодной клетушки, отделённой перегородкой, из кухни и пристроенной галереи с навесом, на которую вели три полусгнившие ступени. Перед дачей был разбит крошечный, но густой садик, с двумя тщательно содержимыми, усыпанными песком дорожками. На одной из них была даже скамейка, и догадливый Михайлов сейчас же подумал, что здесь очень удобно винтить.

– Посидите здесь... В комнатах душно. Я сейчас вернусь, – кинула ему хозяйка.

Ей отворила заспанная старушка.

– Ну что, няня? – замирающим голосом спросила Вера Павловна, кладя свой узел на стол.

– Да Оля блажила всю ночь. Ты, Верушка, не сумлевайся. Это бесперечь к зубкам... Не ходи ты к ней, не тревожь...

– Я, няня, только поглядеть на них...

Они говорили шёпотом и ходили на цыпочках.

Через пять минут она раскрыла окно над самой головой Михайлова и тихонько спросила его оттуда:

– Чаю хотите? Живо самовар вздую...

– О, нет!.. Может, вы сами хотите? Я пиво пил.

– Ну, а закусить? Водочки?

– Благодарю вас, не надо. Лучше выходите сюда... Так давно мы не видались! А если б вы знали, как меня тянуло сюда! К вам... Идите скорей!

В его голосе была дрожь.

Она вышла уже без ватерпруфа, с одним белым платком на плечах.

– Выйдемте за калитку, – предложила она. – Видите? Светает... Там такой славный вид, и скамейка есть. Я там все вечера сижу...

Они вышли, скрипнув калиткой, и уселись рядом на скамью. Заметно светало. Вид был, действительно, хорош. Дачи лепились на узкой площадке, которая довольно круто спускалась в лощину. Здесь кончалось жильё, и шли огороды, засеянные капустой, а дальше необъятный простор полей; только кое-где на горизонте зубчатой стеной синели сосновые рощи.

Вся деревня осталась позади, вправо, а влево, далеко через поля, смутными силуэтами обрисовывались село Преображенское, ещё левее – Черкизово. Совсем близко в лощине, казалось у самых ног их, тёмною сталью сверкал какой-то ис-

ток Яузы, а за ним неясно белели в преддвассветной мгле кресты и немногие памятники деревенского кладбища. Вправо, через дорогу, тёмною стеной стояли деревья в большом саду одной богатой дачи, и ночью этот сад казался ещё больше, таинственнее и гуще. Две-три стройные молодые липы росли по крутому спуску в лощину. Они словно потихоньку уходили из родной семьи и вдруг остановились в глубоком раздумье на полпути... «Остаться или идти?..» – как бы спрашивали они.

Тихий воздух казался неподвижным. Это была самая глухая пора. Ночь спала и бредила какими-то странными, таинственными звуками. Казалось, сами далёкие звёзды, мигая в эфире, прислушивались к этой чудной тишине. Разве изредка где-то далеко, в лугах, крикнет коростель или сонно застучит доска сторожа. Изредка лениво заструится воздух и бросит в лицо одуряющим ароматом гелиотропа и резеды из соседних цветников...

## IV

– Какая ночь!.. – Михайлов невольно понизил голос, словно боясь нарушить эту тишину. – И славное же у вас здесь местечко!

Вера Павловна не отвечала, задумчиво глядя вдаль.

– А у вас дети есть? – неожиданно спросила она.

– Есть, есть... У кого их не бывает!

Она покосилась на его лицо. Опустив голову, с которой он снял шляпу, Михайлов сидел, сгорбившись, и чертил что-то концом палки по земле.

– Я, Сергей Васильич, забыла вас с женьбой поздравить. Я только недавно узнала, что вы женились... Она, говорят, образованная женщина... Вы счастливы? Впрочем, что я говорю? – и еле уловимая горькая нотка послышалась в её тоне. – Почему ж бы вам и не быть счастливым? Ведь, вы по любви женились...

Он помолчал, продолжая чертить какие-то буквы на песке.

– А вы, Вера Павловна, счастливы? – вкрадчиво осведомился он. – Ведь, вы тоже по любви замуж шли...

Она даже в темноте покраснела и испуганным движением откинула упавшую ей на лоб прядь волос.

– Я, Сергей Васильич, вся в детях. Когда они здоровы и веселы, мне ничего больше не надо... Женщина во мне умер-

ла...

– Давно ли? – всё так же вкрадчиво спросил он, не подымая головы.

– Давно ли, нет ли... Право, не умею сказать... И если б... если б вы знали условия моей жизни, такого вопроса... такого жестокого вопроса... вы бы мне не задали...

Он поднял голову.

– Извольте, я буду откровеннее вас. Моя женитьба – ошибка... Я совсем не люблю жену мою... да и прежде не любил её.

– Боже мой, Боже!.. Так зачем же? – прошептали её бледные губы.

– Спросите лучше *почему*? Слыхали вы поговорку: «Клин клином вышибают»?.. Вот и я... В разлуке... с вами... я не мог уже прожить без сильных ощущений... Вот как пьяница без сивухи... Простите за грубость сравнения. Не найду более верного... Помните, мы читали одну книгу?

– Помню, – уронила она чуть слышно и прижмурила веки, словно ей больно кольнуло в сердце.

– Как поразила нас тогда, помните... эта картина чужой страсти! Мы, задавленные нуждой, усталые, неудовлетворённые... как могли мы их понять? Сколько силы и мощи было в чувствах этих людей! Какой размах! Какая цельность!.. И потом обстановка вся... Рамка любви-то какая роскошная! Южная природа, море, залитое лунным светом, мраморная вилла, ковры, бархат... Отравили меня эти

картины... Бывало, приду домой из правления в комнату от жильцов... Чад от сала, брань хозяйки с нахлебниками, тринкание гитары, продавленный диван, облезлые обои... Зажмурюсь, лягу на постель и начну мечтать... Иногда не выдержишь... Тоска схватит за сердце... Хоть бы глазком увидеть эту южную ночь, море, этот «праздник природы»!.. Уйти куда-нибудь от жизни!.. Убежишь на улицу... А там дождь, мелкий, холодный... туман навис над городом, ноги скользят по грязным камням... Тоска засосёт ещё сильнее... «Где же солнце?.. – хочется крикнуть, зарыдать... завывать от боли хочется... – Где же краски жизни?.. Где эти сильные ощущения, идеи, страсти, для которых стоило бы жить?»

– Где? – как эхо, чуть слышно повторила Вера Павловна.

Он обернул к ней побледневшее лицо.

– Плохо быть мечтателем, Вера Павловна... Я отдыхал только, играя на сцене, да вот... у вас... Вы заменяли мне этот нужный мне наркоз... Бывало, придёшь к вам...

– Тот же чад, – перебила она с горькой усмешкой, – убогая мебель, облезлые обои...

– Пусть! – горячо крикнул он. – Пусть! Но я был счастлив... Когда вы и *это* отняли у меня... Ну, да что говорить! Я сам... в своей ссылке добровольной... думал, с ума сойду от тоски... Кинулся на новые знакомства... так сказать, в свет пустился... Всё обмануть себя искал, развлечься жаждал... *Она* такая красивая была... с холодком... с характером, неглупа... Я увлёкся... думал: «Вот забвение!.. Спа-



сён!..» Остальное вы поймёте... В итоге – подлость. Себя не сделал счастливым. Не дал счастья и жене...

– А она любит вас?

– К несчастью, любит до сих пор...

Они тяжело смолкли оба.

– Ну, а дальше, дальше-то? Дети бедные!

– Да, дети... Если б не они... Ну, что дальше? Будем жить, как живут сотни кругом... Станем ссориться, постепенно разочаровываться друг в друге, жить чужими под одной кровлей и всё-таки детей плодить будем... А там начнём оба изменять, потихоньку, пошло, от скуки... без любви... Будем стариться на постылой механической работе, биться как рыба о лёд, чтобы выкарабкаться из нужды. А в редкие минуты раздумья станем проклинать тот миг животного увлечения, который дал нам семью... и сковал нас навеки, как двух преступников, одной неразрывной цепью... И мы будем говорить себе в эти минуты: «Ах!.. Если бы начать всё сызнава! Если бы вернуть»... Нет! Довольно!.. Жизнь – скучная повесть, написанная без таланта и юмора... Давайте говорит о поэзии, о красоте... о том, что лучше жизни, что подымает нас над нею, делает хоть на минуту иными... добрыми и чистыми... Давайте говорить об искусстве!

– Вы всё тот же, милый Сергей Васильич, – грустно улыбнулась Вера Павловна. – А вы часто играете в В\*\*\*?

– Редко... Ведь, и там больше водевилями пробавляются. А я до них не охотник. Представьте, я даже среди ак-

тёров пользуюсь симпатиями. Публика принимает прекрасно. Если б не это наслаждение изредка, уж, право, не знаю, чем бы я кончил?.. Жизнь там глухая, Вера Павловна, тёмная жизнь... А ещё находятся люди, осуждающие любителей. Кто над нами не смеётся?.. А между тем, посудите... Ну, куда же нам уйти *от самих себя* в свободное время? Хорошо, если есть театр, с порядочной труппой... А если нет его, тогда что? Винт?.. Или бильярд в трактире и неизбежная выпивка? Эх, Вера Павловна! Любительство... Ведь, это отдушина... Захлопните её... И все мы задохнёмся от скуки, сплетен и неизбывных мелочей...

– Аминь! – улыбнулась Вера Павловна.

Они помолчали. Откуда-то, сверху ли, снизу ли, к ним неслось знойное стрекотание кузнечиков.

– А что, Сергей Васильич, вы больше уже не мечтаете на сцену попасть?

– Нет, Вера Павловна... На то была молодость. Для любителя я хорош, но, ведь, с актёра спросится втрое больше, а плохим быть я не согласен. Хотя, сознаюсь (голос его вдруг упал), с этой мечтой расстаться мне было всего больнее. В сущности, я завидую самому завалиющему актёру...

– О, полноте! – устало перебила она. – Разве они мало бедствуют? Много их я насмотрелась за эти годы. А их семьи несчастные?.. Ей-Богу, с иным провинциальным актёром совестно на улице встретиться и руку ему подать.

– Ну и пусть! Пусть! – горячо подхватил Михайлов. – И

всё же воистину они счастливыцЫ!.. Как бы ни трепала и ни обманывала их жизнь, как бы низко ни стояли они на ступенях общественной лестницы, но если есть в них искра Божие, то всё-таки на сцене они выше толпы, которая пришла глазеть на них и смеётся и плачет зачастую по их воле... Всё-таки даже без таланта, с одной только любовью к искусству, они счастливы уже тем, что знают эту красоту жизни, по которой мы все тоскуем... Вот подите ж! Откуда у меня, мещанина по рождению, человека без высшего образования, бедняка с детства, какого-то жалкого коллежского асессора – откуда она у меня, эта тоска по красоте? Эта жажда поэзии! Дико!.. Смешно!.. Я уже не мальчик. Мне под сорок, на плечах семья... Будни в прошлом... будни впереди... А вот подите ж! И не замирает эта потребность! Боюсь только, что долго так не протяну... опущусь... Задавит нужда. Если б ещё я был свободен... Но я сам влез в хомут... И он пригнёт меня к земле...

Он вздохнул полной грудью и продолжал горячо:

– Да, артист – счастливец! Пусть кругом проза и мелочи жизни! Неоплаченные счета, семейные дразги, больные дети, ревнивая жена! У него есть часы, когда он живёт чужою жизнью, совершает подвиги или преступления, льёт слёзы, терзается страстью, наслаждается и страдает... И забывает о себе.

На этот раз Вера Павловна не возражала. Всё, что говорил Михайлов, было ей понятно. Та же тоска жила в её душе,

неистребимая ничем.

Она обняла руками колени и вдумчиво глядела туда, где смутно белели кресты кладбища. И вся окрестность будто побелела... Даже звёзды стали бледнее, словно таяли. Крик коростеля уже не раздавался в лугах, смолкла и доска сторожа. Зато неподвижная прежде ночь теперь как будто дышала, и вздохи её доносили до сидевших на скамейке то отдалявшиеся, то приближавшиеся волны звуков. Это в детском саду играли вальс.

– А заметили ли вы, – вдруг опять заговорил Михайлов, нервно теребя мягкие поля своей шляпы, – заметили ли вы, что мы всю жизнь только *собираемся* жить?

– То есть как это собираемся?

– Очень просто! И удивительно печально. Только детьми мы живём настоящей минутой и умеем насладиться каждым пустяком, самым процессом жизни. В школе зарождается уже первый приступ тоски. На школьной скамье мы говорим себе: «Вот кончим учиться, тогда... Ах!.. Скорей бы! Скорей!..» Но курс кончен... И вот уже явилось первое разочарование... Неужели это та свобода, о которой мы мечтали? Нет денег, нет места, чужой хлеб горек... Мы бьёмся, мечемся в тоске, ища определиться куда-нибудь, чтобы не сидеть на чужой шее, и мечтаем... «Вот тогда заживём... Вот скоро! Не об одном хлебе будем думать. Развернём свои крылья»... Не тут-то было!.. Жалованья не хватает даже, чтобы содержать себя прилично. Перебиваешься с хлеба на квас. Про-

рвёшься, наконец, и двадцатого числа закутишь, как немецкий сапожник... А там, после оргии одной ночи, тоскливое похмелье целого месяца. Идут дни, годы... И вдруг тебя словно обухом по голове шарахнут... Разве ты знал любовь? Женскую непродажную ласку... Где твоя радость? В чём твоя цель? Куда идёшь? Зачем живёшь? А молодость уходит... И так холодно станет... Так жутко... Так страстно захочется счастья... Вот о каком в книгах пишут. И всё ждёшь-ждёшь настоящей жизни... А желаний-то, желаний сколько неудовлетворённых! Сколько сил неизжитых! Женишься, наконец... Конечно, по любви, по безумному увлечению... Только страстью и можно оправдать такое безрассудство... Хотя и тогда, в лучшие даже минуты, рассудок шепчет тебе в уши: «Безумец, нищий! Кто дал тебе право плодить нищих? Зачем добровольно лезешь в петлю?» Ну вот ты и женат... Урвал у судьбы несколько счастливых минут. А дальше?.. Потребности растут не по дням, а по часам, семья с каждым годом увеличивается, жена хворает и капризничает, дети умирают, страдая... Слезы, размолвки, дефицит... Живёшь, как-то зажмурившись, со дня на день, обрезывая себя во всём, работая как битюг ломовой, до minimum'a низводя свои собственные потребности... Мечтаешь, как о чём-то недостижимом, о винте по пятидесятой в клубе. Чувствуешь себя раз только в месяц человеком, в день получки жалования. Тут покупаешь детям игрушек, жене какие-то ненужные ей жёлтые перчатки, идёшь винтить к приятелю... Случится

вдруг такой грех... Спустишь там треть жалованья, а потом ругаешь себя целый месяц и всё утешаешься надеждой: «Вот дадут награду или прибавку... расплатишься по книжкам, будет хватать от двадцатого до двадцатого... Квартиру наймём побольше, детишки умирать не будут от худосочия, дачу возьмём, прислугу лишнюю заведём, жена отдохнёт, добрее будет»... А там оглянешься – поздно... Молодости нет, нет и желаний... Жизнь ушла... «Когда ушла? Куда?..» – спрашиваешь себя с испугом, с тоской... А впереди старость, с её недугами, необеспеченная старость интеллигентного пролетария и... могила...

– А там? – прошептала Вера Павловна, подняв глаза на бледнеющее небо. – Вы разве не верите?

– А вы?

Она промолчала, и только пальцы её слабо хрустнули в тишине.

– Нет, – словно доканчивая её мысль, продолжал Михайлов. – Надо же и честь знать!.. Здесь жили, там будем жить... А отдых-то когда же? Знаете ли... Я иногда даже с удовольствием думаю о смерти, как о полном покое, который не потревожат даже кредиторы с их книжками.

– Вы счастливее меня... Я о смерти и мечтать не смею... На кого я моих детишек покину?

И столько тоски прозвучало в её надтреснутом голосе, что Михайлов нервно повёл плечами, словно ему стало холодно. Он поглядел в её лицо.

– Скажите, вас не удивляет, что я так разболтался? Уж очень долго молчал я, Вера Павловна... И всё мечтал вот эти годы: вот приеду в Москву, увижу вас, наговорюсь досыта, душу отведу... Дома я один, всегда... Как я мечтал об этом свидании!

Он взял робко её холодные пальцы и пожал их. А в груди словно заняло что-то:

«Не то... не то... Совсем не то»...

## V

Перед ними в ложине, над стальной поверхностью Яузы, стали медленно подниматься молочно-белые клубы тумана. Ветерок вдруг примчался, донося до них сладкий запах гелиотропа, звуки лансье, пошевелил верхушками затрепетавших деревьев в садике и приподнял тёмную прядку волос на лбу Веры Павловны.

– А чудесная погода будет завтра. Смотрите, какая сильная роса! Пойдёмте завтра гулять, Вера Павловна! В лесной сторожке чаю напьёмся, или к Трём-Пням направим стопы, прошлое вспомним, а?.. Я так часто скучал по Богородскому лесу...

– Нет, Сергей Васильич... Идите с мужем, если хотите. Я не пойду.

– Напрасно... Вам-то и надо развлечься. Вы взгляните на себя, какая вы худая и бледная!

– Я не могу идти, не настаивайте. Во-первых, дети... Не тащить же их с собой в даль такую... И потом... Я буду с вами откровенна; знаю, что вы не осудите... Вон у меня целое корыто белья, и своего и детского... С этими репетициями я до того довела, что мне детей переменить нечем. Вы, ради Бога, мужу не намекайте ничего. От него станется, что он будет тоже настаивать на этой прогулке. А ему надо сорочку крахмальную приготовить. Ведь, он не спросит, есть ли вре-



мя. Чтоб было! И кончено...

– Вера Павловна, неужели вы в такой нужде?

– А как же иначе? Не знаем, как концы сводить. Где уж тут прислугу держать! Да это бы всё ничего, если бы дети не хворали... Вот тогда, тогда где взять? Я уже всё продала, что можно было из приданого... И как погляжу вперёд...

Голос её сорвался.

Михайлов и сам не знал, страсть ли, жалость ли заговорили в нём, но порыва этого он не мог сдержать и обнял плечи молодой женщины.

Она не отстранилась, вздрогнула только и всё так же сидела, закрыв руками лицо. «Жалость»... – подумала она.

Трепет прошёл по чертам Михайлова. Разом побледнело лицо, странно замерцали глаза.

– Эта жизнь сгубит вас, родная вы моя, радость! – страстно и бессвязно шептал он ей над ухом. – Нет! Нет! Не отстраняйтесь... Я не обидеть вас хочу, Вера Павловна... Идите на сцену... Послушайте... Не знаю уж, как вы умудряетесь в такой обстановке?... Но только талант ваш вырос. Я ни одного вашего слова не проронил сегодня. Скажите только *да*... и я берусь устроить вам дебют в В\*\*\*. У меня там связи... через женину родню... За успех я головой ручаюсь... Ведь, у вас дар... дар, искра Божие... Ведь, там таких как вы нет. Хотите? Вера?

Он почти касался губами её волос. Она выслушала, широко открыв глаза, и когда поняла, то медленно и печально

закачала головой.

– Нет, Сергей Васильич, нет... С детьми на руках жизни сызнова не начнёшь. Да и муж не пустит... Я его батрачка до могилы...

Михайлов чувствовал, как дрожь овладевает им всё сильнее.

– «Не пустит»... А у вас своей воли нет?

– Нет! – зазвенел её голос, и она встала. – Злоба... вот что есть у меня!.. Я как собака озлобилась... Бывают дни, когда я даже говорить не могу просто, без жёлчи. Так и чувствую, как подступает к горлу, душит меня что-то... И откуда у меня столько яду берётся? И удержаться не могу...

Он опять нервно сжал её руку, но она и этого словно не заметила.

– Помните ли? Ведь, в девушках я слыла и за неглупую и за красноречивую... И к живописи и к литературе у меня способности были. Помните, как Самарин покойный меня благословил на сцену идти? Теперь ничего... всё убито. Я чувствую, что тупею с каждым днём. В обществе даже стыдно иногда... Все веселы, поддерживают общий разговор. Я всегда молчу, потому что от всего и от всех отстала. Гляжу на них и думаю: «Счастливые счастливые!..» Я знаю, я чувствую, что такая жизнь «человека» во мне убила. Что я теперь? Самка, которая дрожит за своё жалкое гнездо. Чем я интересуюсь? Жизнь идёт мимо, где-то там, далеко... А когда-то во мне характер был, энергия... Мечтала и я пол-

ной жизнью жить, работать. Меня волновали чужие страдания... Теперь иногда в гостях слышишь: «А читали вы последнюю статью Льва Толстого? Ту, что не напечатана ещё, а по рукам ходит? Видали вы Шаляпина? Смотрели картины импрессионистов на выставке?» И так станет больно-больно... «Нет!» – хочется крикнуть в лицо этим людям. «Ничего я не видала, не читала, не слыхала... Всё это не для меня... И вот я тут среди вас, сытых, праздных, счастливых, сижу и слушаю толки ваши об искусстве... А у самой одна мысль мозжит: как извернуться до конца месяца? Как уговорить молочницу подождать за мной долг? Не лишать детей молока?..» О! Я до того дошла, что ненавижу сытых и праздных. И клянусь тех, чья жизнь сложилась иначе!

Она села, как-то бессильно сгорбившись. С нежностью, какой он сам от себя не ожидал, Михайлов опять обнял её и положил её голову к себе на плечо.

– Вера, дорогая, скажите, *что* я могу сделать для вашего счастья? Я не остановлюсь ни перед чем...

Она поняла, наконец, и ей стало страшно. То, что она силится забыть, с чем боролась когда-то, что считала конечным, поднялось разом со дна души, и вся она содрогнулась, с головы до ног. Он это почувствовал. Голос его опустился до шёпота.

– Неужели ни одного светлого мгновения, Вера? А нынче? Вы разве минутами не были счастливы? Давайте, сыграем вместе! Сознаюсь вам: едуци сюда, я так мечтал об этом!

Она вырвала свои руки и бессознательным движением занесла их за голову.

– Не надо!.. Ничего не надо! Ни светлых мгновений ни забвения! Я не ребёнок... Зачем вы утешаете меня и дразните вашими планами? Пойдите, дайте высказаться!.. Я так долго молчала... Помните, помните... – трепетал и звенел её голос. – Мы с вами вышли из освещённого сада. И тёмная ночь ещё черней показалась... Так и моя жизнь теперь... Ведь, у меня после этого спектакля каждый нерв болит. Я из колеи выбита... После этого трепета там, на сцене, после этих счастливых минут, да опять корыто, кухня, больные дети, долги... А главное – одиночество... вечное одиночество... И когда я успокоюсь теперь? Когда? Ведь, вся моя молодость, все мечты мои погибшие вспомнились теперь... и заснуть не дадут... А завтра вставай! И опять то же, без просвета, без конца... А вы уедете... забудете... У вас там своя жизнь... И зачем вы приехали? Зачем сидите здесь?.. Уходите! Вы мне столько напомнили... Мне больно вас видеть...

Она не могла удержать рыдания.

Михайлов дрогнул и обернулся к ней с расширенными зрачками. Тяжело дыша, он старался завладеть её руками и заглянуть в её лицо.

– Пойдите... одну минуту... Вера, ответьте мне, Бога ради!.. Меня эта мысль гложет... Помните вы ту ночь?.. Последнюю?

– Пустите меня, Сергей Вас...

– Помните... ту минуту?... Ну вот, ответьте мне... если бы я тогда...

Он весь дрожал. Она вдруг посмотрела в его лицо большими, совсем тёмными глазами.

– Да! Да!.. Да! – крикнула она с отчаянием. – Это было бы так... У меня уже не было силы... и воли бороться... Но вы ушли... И не вернулись...

– А вы ждали? – хриплым звуком вырвалось у него.

– Не знаю... ничего не знаю... Кажется... да... Нет!.. Зачем лгать!.. Я ждала вас...

Он застонал и спрятал лицо в руках. Она говорила что-то. Он не слышал. Ему словно кричал кто-то в уши: «Вот как проходят мимо счастья! Ты жаждал красоты жизни и ушёл без борьбы, когда она тебе готова была улыбнуться... Что разлучило? Какие предрассудки? Какие жалкие условности?»

Вдруг он выпрямился. В его объятиях на этот раз она почувствовала отчаяние и решимость.

– Вера, не гоните меня... Живут раз только... Не повторяются такие минуты...

– Сергей Васильич...

– Не отталкивай же меня... Вера, Вера! Неужели же ты не поняла? Я не забыл тебя... тебя любил одну... всегда...

– Оставьте... пустите!

– Ну, брось ты мне эту минуту счастья!.. Как милосты-

ню... Брось... Одну только ночь!

Она вырвалась из его рук и встала.

– Ночь пройдёт, Сергей Васильич... и... настанет утро...

*Как я его встречу?.. Вы об этом забыли?*

Он потянулся к ней. Но она, дрожа и задыхаясь, отодвинулась опять.

– Нет!.. Не надо!.. Уходите! Я постараюсь позабыть... Я тоже помнила вас... все эти годы помнила... но... я гнала мысли... Есть такие вещи, о которых думать даже страшно... Отравишься... Ну да!.. И я... и я тоже с ума сходила... Теперь прошло... И порыву этому вашему не верю... Постойте!.. Не то... Я хочу сказать, что это лишняя иллюзия... Вы не *меня* любите, а прошлое наше... то, чего уж нет... Разве меня можно любить теперь? Я тупа, зла. Я вся высохла... страшная такая стала... Когда я увидела вас нынче, я вспомнила себя другою... словно покойника дорогого... Уйдите, ради Бога!.. Мне тяжело...

– Вера! Какая бесполезная жестокость! За что?

– Нет... Вы не поняли... А кто вам сказал, что я захочу *пережить* такую ночь? Что, уступив вам, я соглашусь и дальше опять на годы будней? Разве вы знаете меня? Не из-за укоров совести... Их у меня не будет...

Он опять рванулся к ней. Но она отшатнулась и сделала невольный жест, как бы отталкивая его.

– Да, не будет!.. Пусть это цинизм, пусть безнравственно! Я не этим буду мучиться... А тем, что *после* жить по-старому

я уже не смогу... Понимаете, Сергей Васильич? Не смогу!..  
А моя жизнь нужна...

– Вы не любите меня... Какая любовь рассуждает?

– Да? – вдумчиво переспросила она. – Возможно... Тем лучше для нас обоих! Вы не бросите жену. Я не соглашусь уйти от мужа... Ведь, вам дороги дети, Сергей Васильич?

Он молча закрыл лицо руками.

– Вот видите... У нас с вами свободы нет! Пусть! Я сама выбрала себе дорогу, сама этого хотела... и сама теперь расплачиваюсь. Поздно... Любить *ничем*... И не надо любить! Если б только знать, что дети... Вот вы сейчас... страшное слово сказали... и словно глаза мне открыли на всё... *Какое право имеем мы, нищие, жениться и плодить нищих?*.. Да! Какое право? Что мы им готовим? Они малокровны, худосочны, слабы, неспособны бороться с болезнью, которая ждёт за углом. У них нет света, воздуха... Живут чуть не в подвалах, питания нет... По какому праву мы их обрекли на страдание? Мне страшно!.. Страшно!

Она была как в истерике.

– Верочка, милая! – испуганно сорвалось у Михайлова.

– А дальше что? Какое воспитание я им дам? Сама озлобленная, отупевшая, раздражительная?.. Какое образование? На это деньги нужны... Сделать их ремесленниками, черно-рабочими? А здоровья, здоровья откуда я им возьму?.. Им в жизни нет выхода из нужды. Но для борьбы с ней силы нужны... силы, чтобы не упасть в грязь, не погибнуть... Чему

я научу их, когда сама во всё изверилась? Борцы... Ха-ха!.. Это наши-то ребята несчастные, с кривыми ножками, худенькие заморыши? Господи!.. Я иногда, после целого дня... вот когда оба они у меня от дизентерии умирали... лягу и думаю: «Заснуть бы, заснуть!.. Да так, чтоб уж не проснуться! И с ними вместе... всем... Чтоб и они этой каторги не изведали!»

Жалобный детский крик прозвенел как бы над самой головой их.

Вера Павловна вскочила, вся трясясь, с широко открытыми, полными ужаса глазами. Её расстроенным нервам в этом плаче почудился укор, мольба обречённых детей о хрупкой жизни... Она даже сразу не сообразила, кто это кричит.

– Оля! – вдруг поняла она и провела рукой по похолодевшему лицу. – Сейчас, сейчас! – крикнула она, забывая, что ребёнок не слышит её.

Она бросилась к калитке. Но на пороге она опомнилась и протянула Михайлову руку.

– Прощайте... И забудьте, ради Христа, всё, что я наговорила тут... Это всё спектакль расстроил нервы... Лихом не поминайте, Сергей Васильич! Нет сил ни любить, ни сызнова жизнь начинать... Смиритесь и вы... Над нами обоими, видно, захлопнули крышку. Не подниматься... Прощайте...

– Вера Павловна!

В чуткой тишине его зов прозвучал как вопль.

Она невольно обернулась, закинула ему руки за голову



и поцеловала его бледное лицо. Но он не искал её губ, как раньше. Трепет восторга не прошёл по его обессиленному телу. Он даже не встал со скамьи, он принял с закрытыми опухшими веками эту скорбную ласку и не удерживал тоненькую фигурку, когда она кинулась на плач ребёнка, на стойчиво звавшего мать.

Когда он открыл глаза, он был уже один.

Светало. Предраассветный ветерок пробежал по верхушкам деревьев, и сонно лепетали листья, не желая просыпаться. С реки в ложине густой молочный туман подымался всё выше и, шатаясь, лез на площадку, заволакивая уже всю окрестность. Где-то робко прочиркала птичка, но ей никто не отозвался.

Михайлов встал со скамьи, потянулся, надел свою отсыревшую шляпу и пошёл по Московской улице.

Чем дальше он шёл, вдумчиво прислушиваясь к ритмически унылому звуку своих шагов, тем гуще становился кругом туман, и сквозь его разорванные хлопья только смутно мелькали крыши дач, верхушки деревьев, очертания колодца. Последние, как бы утомлённые звуки оркестра неслись навстречу Михайлову.

Пройдя шагов сто, он остановился и оглянулся. Дача Петровых потонула в сплошном море тумана. Михайлов знал, что уже никогда не вернётся на эту дачу и не увидит Веру Павловну...

По горе, звонко шлёпая в лужах, невидимые в тумане,

шли дачники, возвращаясь с бала. Звуки их голосов и смеха ясно долетали до Михайлова. Ему на мгновение послышался раскатистый смех Петрова... Но он даже не вслушался, не поинтересовался узнать, точно ли он это идёт?

Теперь ему было всё равно...